



Валерий Абрамкин / Фото: архив Международного Мемориала

10.07.2018, 16:25 Москва

СТАТЬИ

«Пьеса в парашу»: из писем о голодовке 1980 года

В связи с продолжающимися голодовками политзаключенных мы публикуем фрагмент из писем правозащитника Валерия Абрамкина, посвященный голодовке в Бутырской тюрьме в 1980 году. «Лоскутки», которые Абрамкин тайно передавал жене на листочках из папиросной бумаги, были расшифрованы его дочерью Катей. Автор вступления, послесловия и комментариев в сносках — историк Алексей Макаров.

ОБ ЭТОМ НИКТО НЕ УЗНАЕТ

Если об этом никто не напишет. Подпишитесь на регулярные пожертвования ОВД-Инфо, чтобы плохие дела не оставались в тишине.

ПОДПИСАТЬСЯ

Пунктир жизни Валерия Федоровича Абрамкина (1946–2013) — довольно стандартный для московского интеллигента: работа в НИИ, авторская песня (был даже комендантом X слета Клуба самодеятельной песни в 1971 году), чтение и распространение самиздата, потом от Веры Матвеевой перешел к Галичу... С 1978 года — член редколлегии самиздатского журнала «Поиски», который мы назвали бы общественно-политическим и художественным, а участники просто называли его «свободным». 4 декабря 1979 года Абрамкин был арестован. В основу обвинения легло не только редактирование журнала, но и статья «Есть ли что-нибудь на земле» о суде над правозащитником Александром Гинзбургом. 4 октября 1980 года Абрамкина осудили на три года лагеря, во время отсидки возбудили и новое дело, добавили срок — еще три года. Из лагеря Абрамкин вышел с туберкулезом, хорошим знанием правил уголовного мира и желанием реформировать эту гулаговскую систему. В 1989 году он основал Общественный центр содействия реформе уголовного правосудия, который и поныне помогает заключенным.

Для тех, кто не очень знаком с тюремными реалиями, мы в качестве послесловия даем подробный комментарий.

ПЬЕСА В ПАРАШУ

Текст подвергнут небольшой корректорской правке.

Имена сокамерников, согласно желанию родственников

Абрамкина, даны в сокращении. Комментарии внутри текста принадлежат Кате Абрамкиной.

<...> Началось все с баландера, или, по-здешнему, черпака [так называют заключенных, которые разносят «еду» по камерам], что развозит баланду по хатам. Черпак этот прежде подогревал ребят добавкой баланды за пару сигарет в день. И вдруг, как бы приглядевшись ко мне, подогревать перестал и от сигарет отказался. Это все как-то ускользало от моего внимания по причине «грандиозных» замыслов: написать пьесу из тюремной жизни, где все действие будет развиваться в одной камере + в одном прогулочном дворике, естественно, с застенными голосами и мордами, заглядывающими в глазок и кормушку. Уже наклевывался сюжет, но явно бледной выглядела интрига, не хватало конфликтности. И вот тут мне ее добавили. На следующий день после странного поведения черпака я почувствовал некоторый холодок со стороны сокамерников, но отнес его на счет своего отказа от утреннего покера: пьеса все сильнее занимала меня. Гулять я пошел с Г., В. и Ю. остались в камере обсуждать, как выяснилось позже, мою судьбу. А после прогулки все тот же черпак (еще одна «случайность» — он работал второй день подряд, в то время как обычно они меняются через день) кинул записку: «Ребята! Бородатый — нехороший человек!» И все, больше там ничего не было. Да, еще один нюанс. Я заметил, что «черпак» хочет что-то передать, протянул руку, вижу, что не мне, дернулся от кормушки со своей миской и отвернулся. Мне казалось это естественным: раз дело тебя не касается, лучше не любопытствовать и не глядеть.

Записку мне продемонстрировали, требуя разъяснений. Но и тут я не въехал в серьезность момента (мелькнула мысль: вот что положить в основу главного конфликта! записку, подброшенную в камеру!). Не въехал и рассмеялся: какой, дескать, с меня спрос — черпака

и спрашивайте. А дальше пошел крутой разговор, кончившийся тем, что я чуть не съездил по морде В. Отошедшего в сторонку Г. и кипятившегося Ю. я вообще в расчет не брал, и никаких претензий у меня к ним не было, первый по характеру, второй по судьбе были уродами. А этот сорокалетний боров просто меня выбесил своей тупостью. Только что (день назад) со мной откровенничал, делился Бог весть чем, а тут пошел, как пацан, в глупые игры играть. Все это выглядело глупо и подло.

Первый разбор строился на доводах, для меня попросту непонятных. Ни с того ни с сего такие записки в камеру кидать не будут. Господи, — говорю им я, — всей тюрьме известно, что каждый второй черпак, если не чаще, поддон, и работает на опера. А зачем это оперу нужно? И здесь я им ничего толком объяснить не мог. Не доходило до них зачем. Не видели такого и не слышали, сколько ни сидели. («Сколько ни сижу», — драл горло Ю.) Черпак боится брать сигареты, а я от него шуганул, чтоб он не узнал меня... Никакая логика не помогла. От меня потребовали поручителя. Виктор?^[1] Виктор не годится, он знает меня по воле, нужен тюремный поручитель. А откуда мне его взять если все прежние мои сокамерники остались по ту сторону коридора... Кончиться все это должно было не очень хорошо. Одному против троих, да еще такой весовой категории, мне бы не выдюжить. Но то ли шаткость их доводов, то ли моя уверенность разрешению конфликта помешали. Мне было предложено ломиться из хаты. Ломиться я не стал, а на проверке в четыре часа дня спокойно попросил корпусного перевести меня в другую камеру. Для надежности подкрепил свое требование объявлением голодовки. Корпусной перевести меня отказался, обещая доложить начальству. Докладывал он довольно долго. Перед самым отбоем меня вывели в коридор к дежурному офицеру. Я повторил свою просьбу, отказавшись от подробностей

изложения конфликта. И тут дежурный проговорился. Сам он, мол, решить этот вопрос не может (врал, собака, еще как может), и надо ждать решения высшего начальства. «Впрочем, — добавил он с ехидцей, — если вам придется худо, бейтесь в дверь, мы вас посадим в бокс». Так вот чего они добиваются — чтобы я ломился из хаты и подтвердил для всей тюрьмы легенду о насадке! Пришлось мне объяснить, что даже если меня убивать будут, я ломиться не собираюсь, а за последствия придется отвечать им. Заодно повторил еще раз про голодовку...

Пожалуй, это были самые тяжелые дни в моей тюремной жизни. Продолжать разбор и размазывать грязь? Бог с ней, пусть засохнет — легче отойдет. За все эти дни я не проронил ни слова. Этих троих, не прерывавших ни на минуту своего грохотанья, для меня как будто не существовало. Я лежал целыми днями на шконке и «читал» Тургенева. Строчки прыгали у меня перед глазами, не желая соединяться в какую-то осмысленность. Мне было жалко себя, как маленькому мальчику, подло обиженному ни за что. Впору было каяться за все свои тюремные грехи: за резкое слово, брошенное в горячке сокамернику, черствость и равнодушие, недостаточное участие к бедам ближних, за дурные мысли о других и т. д. и т. п. Но при всем желании трудно было набрать грехов на такое наказание. Господи! за что? ну пусть бы карцер непрерывный, еще какую-нибудь хворость. Но эта убежденность живущих рядом с тобой людей в твоей подлости и продажности?

Впрочем, внешне это ни в чем не выражалось. Разве что бросило чуток седины (самую малость, потом разглядел) в шевелюру, да опять, после трехмесячного перерыва, начал курить. Пьесу (набросок) я тут же порвал и выбросил. Из суеверия. Казалось, будто сам накликал на себя «конфликт». Продолжать ее дальше при моей склонности к трагическим развязкам — избави Господи.

А что меня спасало? Ну, во-первых, эти трое с остекленевшими глазками, что отпускали плоские намеки в мою сторону. Во-вторых, Виктор, с которым я беседовал каждый день и держал его в курсе событий. И, конечно же, «напиток Хроноса» [воспоминания о прежней (до ареста) жизни]. Я вспомнил все наши радостные майские дни. Особенно почему-то 75 год, поездку в Питер... [В мае 1975-го Валерий Абрамкин вместе с женой (на тот момент будущей) ездил в Ленинград собирать материалы для самиздатского сборника произведений Даниила Хармса.]

Вертухаи развлечения не дождались. Из камеры я не ломился. 4 и 5 мая отдал два заявления для Подреза[2] с объявлением бессрочной голодовки до перевода меня в другую камеру. В заявлениях я четко указал, что конфликт спровоцирован извне, а возможные последствия возложил на нашего полковника.

Все эти дни внешне я был как никогда спокоен. Засыпал как обычно, сразу после отбоя (не притворялся, а действительно засыпал), вскакивал в шесть утра, делал облегченную зарядку, много ходил, читал, писал, прогулки, правда, пришлось отменить (при голодовке не положены). И результаты не замедлили сказаться. 5 мая в настроении моих сокамерников наступил резкий перелом. Во-первых, то, что меня не забирают из камеры и после праздников, а их не трогают, никак не вязалось с версией, что я — насадка. Во-вторых, нас водили в баню, и Ю., притормозившись, пока мы выходили в коридор, спросил у парня из хозобслуги про меня, а тот (как я узнал после) от такого вопроса обалдел и сказал, что Ю. псих (парень еще помнил, как меня носили бриться [В первый день пребывания в «Бутырке» Абрамкина связали и без его согласия побрили наголо и сбрили бороду. Так как подследственные заключенные не должны быть приравнены к осужденным даже по внешнему виду, он, естественно, сопротивлялся. В последующие несколько

месяцев после этого инцидента Абрамкин смог добиться права на бороду). В-третьих, мое поведение никак не вязалось с тем, как должен вести себя разоблаченный осведомитель. В-четвертых, пятого же ко мне заглянул «посыльный» от кого-то из наших ребят и попросил подготовить ксиву. Теперь уже пошли другие намеки: дескать, не худо бы устроить переразбор, но я никак на эти намеки не реагировал. Кисляк на лицах моих судей меня не радовал. Для себя я твердо решил ни при каком повороте в этой камере не оставаться.

Шестого меня дернули к оперу. Он показал довольно-таки хорошую осведомленность в анатомии конфликта. Прочитал мне лекцию о моем плохом поведении в тюрьме, о том, что я лезу не в свои дела, качаю права и, «в соответствии с инструкциями полученными с воли» разоблачаю их сотрудников (надо полагать, наседок). Я обсуждать с ним какие-либо вопросы, кроме перевода в др. камеру, отказался. Опер взял покруче и сказал, что такие истории, если я не одумаюсь, будут ждать меня здесь в тюрьме, на пересылке, на зоне. Нетрудно было понять, чего от меня хотят: покаяния и обещания быть паинькой. А потом будут шантажировать наседочной историей, ее развитием. И не на этом ли этапе должен подключиться Бурцев [\[3\]](#) [следователь по делу журнала «Поиски»] и ко. На все это я показал капитану (в этот раз разговаривал со мной не обычный подкумок, а кум [кум — оперативный работник], рангом повыше) культурный кукиш. Опера это совсем вывело из себя, он обещал, что я буду сидеть в этой камере до конца срока, что врач проверит на 7-й день голодовки, не манкирую ли я (по запаху ацетона), и в случае обмана меня посадят в карцер. Заодно кум показал хорошую информированность по нашим с Виктором разговорам, обещая за это наказать нас обоих.

Пока я отсутствовал, в камере произошел переразбор. Ребята очень трогательно извинялись, просили все забыть

и снять голодовку. Я, как мог, чтоб не обидеть их, объяснил, что голодовку я держу теперь не из-за них, а из-за опера, и потому снять ее не могу.

В тот же день дернули из хаты Г. Как будто к следователю (хотя дело он только что, при мне уже, закрыл).

Вернувшись, Г. показал свои ослиные уши, запев вслед за опером, что лучше мне не ерепениться и голодовку снять, иначе им попадет, а меня могут бросить в другую хату, скажем, на общак, где при таких сведениях со мной так спокойно, как здесь, говорить не будут. Все это, естественно, очень легко, доброжелательно. Но с этим-то «советчиком» мне было разобраться проще всего (в столь же мягком и доброжелательном тоне). Ю. с В. совсем погрустнели и сказали, что поскольку они во всем виноваты, то с утра присоединятся к моей голодовке. Г. ничего не оставалось, как проявить солидарность. <...>

Правда, он добавил, что, если хату разгонят, виноват буду я. Пришлось мне поставить все точки над і. Моя голодовка — лично мое дело. После извинений к ним я претензий не имею, а им голодать не советую.

Утром вся камера отказалась взять пайки, сахар и кашу. Через полчаса опер (все тот же капитан) начал дергать нас на круг (в будку корпусного) по одному.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В тексте Абрамкина описана довольно опасная ситуация. В камеру была передана записка, из которой сокамерники делают вывод, что Абрамкин — стукач. Дальше следует разбор, в котором сначала Абрамкин не хочет принимать участия (а если ты не отрицаешь обвинения, значит, согласен с ними). Абрамкину нужен был тюремный поручитель. Целей у этой провокации могло быть несколько: сделать так, чтобы Абрамкин начал драку, и навесить на него дополнительные обвинения, или же

чтобы сокамерники его избили, либо он начал «ломиться из хаты» — это подтвердило бы, что он стукач (согласно неписаным правилам, при внутрикамерных конфликтах нельзя обращаться за помощью к администрации).

Голодовка стала естественным протестом Абрамкина против этой провокации. Позднее, когда ситуация разъяснилась, сокамерники стали требовать переразбор, потому что их обвинения не подтвердились и Абрамкин имел право на сатисфакцию. Но он не стал участвовать в этой тюремной процедуре.

Тюремная администрация начала настойчиво намекать Абрамкину, чтобы он снял голодовку. Ему угрожали, с одной стороны, санкциями против сокамерников (которые, в свою очередь, начали давить на Абрамкина), с другой стороны, через сокамерников, переводом «на общак». Это означало бы перевод в общую камеру на несколько десятков человек, где единственный способ доказать, что ты не стукач — убийство того, кто тебя в этом обвиняет. В итоге те сокамерники, которые продолжали чувствовать свою вину за ложные обвинения, присоединились к голодовке Абрамкина. Это заставило и четвертого сокамерника последовать их примеру, чтобы не вызывать подозрений в работе на тюремную администрацию.

[1] Сокирко Виктор Владимирович (1939–2018), экономист (Москва). Издавал самиздатский сборник «В защиту экономических свобод» (1978–1981). Член редколлегии журнала «Поиски» (1979–1980). Политзаключенный (1980, приговорен к 3 годам условно). Председатель Общества защиты осужденных хозяйственников и экономических свобод (1989–2001).

[2] Подрез Георгий Антонович (р.1919) — начальник Бутырской тюрьмы (1967–1983).

[3] Бурцев Юрий Антонович (р. 193?) — старший следователь Московской городской прокуратуры. Вел дела членов редколлегии журнала «Поиски» (1979–1981), членов Свободного Межпрофессионального объединения трудящихся (1982).

ЧТО Я МОГУ С ЭТИМ СДЕЛАТЬ?

Прочитать, рассказать, поддержать. Подпишитесь на регулярные пожертвования ОВД-Инфо, чтобы как можно больше людей узнали о политических репрессиях в России сегодня.

ПОДДЕРЖАТЬ

Ещё почитать

04.03.2026 Москва

В Москве арестовали бывшую депутатку, участвовавшую в «Съезде народных депутатов»